

**Н. В. ШЕБАЛИН: ПЕРВОРОДНАЯ ЛЮБОВЬ К СЛОВУ\***

Наблюдение молодого еще Никиты Шебалина к сцене Чичикова с Плюшкиным, славно додуманное Денисом Кейером, как мне кажется, убеждает — пассаж приобретает новые краски: с помощью причудливого обращения с арифметическим счетом показано, как умножают *в уме* опытные в счете люди и сколь прихотливо речь способна сопровождать человеческие действия; изображая жизнь выборочно, Гоголь избегает полноты, в которой насмешливые умы не зря увидели «разгадку скуки». Этот герменевтический эпизод выявляет и филологический стиль Никиты Виссарионовича: меткое наблюдение — смелый вывод, острая подача. В статье памяти Никиты Шебалина я разбирал другое наблюдение моего старшего товарища из той же серии — его соображение, касающееся пассажа с плотником по имени Степан Пробка, который тут же, после прискорбной своей гибели, назван у Гоголя «Ваней». Заметив это, Никита склонялся к мысли, что текст испорчен, а впрочем допускал, что некий в минуту несчастья появляющийся Михеич называет бедного Степана *Ваней* потому, что писатель хочет показать: Михеичу жаль погибшего, и он продолжит дело бедалаги Степана, даже и не зная, как звали его (в этом случае и Никита готов был, видно, признать, что текст верен). Поскольку мы делили друг с другом эти филологические мечтания, мне больше нравилось второе из названных толкований о Пробке с таким развитием идеи: имена собственные имеют в языке некий более или менее определенный семантический ореол можно было сказать о человеке «Ваня», ласково журуя его за излишнюю простоту<sup>1</sup>. Это позволяет сохранить

\* Штрихи к портрету старшего друга в дополнение к статье «Н. В. Шебалин (1938–1995)» в: Древний мир и мь: Классическое наследие в Европе и России / под ред. А. К. Гаврилова, В. В. Зельченко. 1997. № 1. С. 196–212.

<sup>1</sup> См.: Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: 4-е изд. СПб.; М., 1914. Т. 2, стлб. 2, под словом, *Иван*: 'простак и добряк'; *Вальтер Х., Мокиенко В. М.* Большой словарь русских прозвищ. М., 2007. С. 123 (о нарицательном значении «Ваня»: 'простоватый'. В упомянутой статье Даля об *Иване* обращает на себя внимание, кстати, и пословица «Дядя Иван, и людям, и нам», так что приходит на ум мысль: не учел ли что-то подобное Чехов, подбирая имя герою известной пьесы?

текст и придать углубленный смысл реплике Михеича: незадачливого Степана можно *жалючи* назвать «Ваня».

В ту пору решение Н. Ш. часто бывало радикальным, — он был молод и склонен к текстологии хирургического типа (позже мы впали, пожалуй, в другую крайность, находя достижение только в том, чтобы какими угодно средствами защитить рукописную традицию). Тем не менее, хотя и Кейеру, и мне в двух приведенных случаях приходится видоизменить решение Н. Ш., мы не знаем, к чему он пришел бы сам, если бы ему довелось превратить свои мысли в правильные филологические этюды с приведением необходимых материалов и детальным доказательством. В обоих случаях, однако, очевидна эвристическая ценность сделанных им филологических наблюдений.

Основой такого внимательного, острого, филологически вдохновляющего чтения служила яркая любовь Н. В. к художественному слову. У него и вообще был культ искусства, вернее различных искусств. «Шекспир, Пушкин, Гёте» — это была главная его литературная триада, в которой оригинальны были не имена, а то, что для Н. Ш. это были *полубоги* или, по меньшей мере, *более, чем люди*, наподобие Гомера или Сапфо для древних. Поклонялся он и другим художникам: Шалапину, Баженову, университетской певице Филатовой... Они воплощали для него искусство, а значит не просто имели смысл, а его *давали*, они были соль земли, воплощая заодно и смысл собственного его существования. Наблюдения Н. Ш., таким образом, шли от сердечной привязанности к великим произведениям слова.

Кто-нибудь скажет — не естественно ли это для филолога, раз уж он по природе *любослов*? На это приходится возразить: беда в том, что *филология* нередко оборачивается *мисо-* или *мизологией*<sup>2</sup>, и не потому что такие теперь ничтожные или превратные времена, а на основании существенных эстетических, а то и онтологических обстоятельств. В самом деле, филология — предмет научный, требующий досконального (т. е., по существу, бесконечного) изучения

---

<sup>2</sup> Мне казалось, что с этой *мизологией* я предлагаю русскому языку рискованный неологизм, однако не так давно довелось мне встретить это слово в русском тексте у Ф. Ф. Зелинского; у греков *μισολογος* и *μισολογία* были в ходу, как и более обаятельные их антонимы; известная потребность в соответствующих понятиях, как видим, существует.

материала, притом во всех возможных отношениях; филологическая работа невозможна без непрерывного усилия мысли, которую надо долго школить, приучая к иссушающей душу дисциплине.

Наука слушает, сопоставляет, мыслит — после того как искусство почувствовало, нашло, выразило. Принцип работы филолога не тот, разительно не тот, что определяет литературное достижение; последнее идет от самобытного опыта, получившего самостоятельное выражение. Филолога и поэта соединяет предмет, но отнюдь не способ мысли, как и не образ жизни. Получается, пожалуй, парадокс: чем более филолог предан филологии, тем дальше его труд от художественных порывов и от любви к собственно искусству.

Еще в 80-е годы вспоминали мы как-то замечательного литератора-переводчика Ивана Алексеевича Лихачёва<sup>3</sup>, и я высказал эту самую мысль о естественной, более того, почти неизбежной опасности соскальзывания из заявляемой филологии в тайную мизологию. Вадим Эразмович Вацуро, тоже выступавший на этом вечере, идею поддержал, что называется, «с живостью». Это было неслучайно: сказалось то, чем оба мы, как и Н. Ш., были обязаны Ивану Алексеевичу с его поклонением художественному слову. Иван Алексеевич — в лагерях (Дальнем Востоке) или в Ленинграде по дороге домой на Петроградскую сторону из переводческого семинара в Доме писателей на Шпалерной (тогда Воинова) — самозабвенно читал на память метафизических английских поэтов XVII в., а Вацуро умел показать, как Денис Давыдов, Вяземский и Баратынский, работая один за другим, создают о Бородинском поле элегию столь же бессмертную, как оно<sup>4</sup>.

Текст своей элегии Давыдов разослал друзьям, начав с Жуковского, который вежливо отвечал, что не станет пробовать улучшать без того замечательное произведение. Вяземский, в архиве которого и сохранился первоначальный текст Давыдова, сделал несколько замечаний как собственно литературного, так и цензурного свойства. Зато Баратынский, действительно вдохновившись произведением Давыдова, вложил в него

---

<sup>3</sup> Об Иване Алексеевиче Лихачёве см. интересную подборку в Интернете — <http://www.vekperevodacom/1900/ilichachev.htm>

<sup>4</sup> Я слышал восхитивший меня доклад уже зрелого Вацуро на эту тему в Музее Пушкина на Мойке. Общее содержание доклада отражено в публикации: *Вацуро В. Э. Рассказы о Денисе Давыдове // Вацуро В. Э. Записки комментатора. СПб., 1994. С. 233–273 (в особенности важен раздел «Невольный пахарь». С. 265–272).*

толику своего бесценного поэтического дара: его редакцию обычно и печатают среди произведений Давыдова.

Вот и Никита Шебалин зачитывал до дыр то *Илиаду*, то Козьму Пруткову, Гоголя, Феогнида, а в последние лет десять — чуть ли не одно только *Слово о полку Игореве*. Он жил ими, читал их про себя и вслух, отыскивал в них красоты, иной раз прямо изобретал их... Это было похоже на «низкопоклонство» настоящих переводчиков перед словесным искусством, что становится у них основой для работы над поисками артистического эквивалента. Оно и понятно: литературный переводчик есть как раз *писатель от филологии*, филолог *практикующий*, а не исследующий словесность, между тем как филолог есть как бы *анти-писатель*, который идет от текста к писателю, прошедшему, ранее, путь от себя к тексту.

Эта любовь к искусству была у Никиты Шебалина в крови от отца-композитора через его помыслы об отце. Как ни ценил он золотой век нашей поэзии, он понимал, что литературный талант (в отличие от науки) не может кончиться, покуда жива нация, и умел замечать также и писателей-современников, которые по определению еще не могут быть классиками. Так он знал и ценил, скажем, Леонида Мартынова, и не только за то, что тот, как и Виссарион Шебалин, был сибиряк; или понимал, что шедевры попадают и у тех, кто создает не одни шедевры, — так он охотно цитировал отдельные стихотворения Николая Тихонова («Гвозди бы делать из этих людей...»).

Для примера художественной осведомленности и артистического просветительства Н. Ш. приведу здесь одно из таких не упущенных им литературных явлений, о котором я ничего не слыхивал, пока не поведал о нем Никита, не слыхал, сказать по правде, и после того. Я имею в виду Павла Александровича Радимова (1887–1967), который был и поэт, и художник-пейзажист. Для начала строфа из сонета «Псалом зачала» Радимова, который перекликается, мне кажется, равно с Гомером и Заболоцким<sup>5</sup>:

Текут века времен... Людские поколения  
Уходят в прах земли. Их дни, как жизнь листа.

---

<sup>5</sup> Цит. по кн.: Русская поэзия XX века: антология русской лирики первой четверти XX века / изд. подгот. И. С. Ежов, Е. И. Шамурин. М., 1991. С. 364 (обе последующие цитаты см.: там же. С. 366).

Дохнет осенний хлад, и роща вся пуста, —  
Лишь кроет золото замерзшие коренья.

Никита Виссарионович охотнее всего читал друзьям радимовские гекзаметры, например, идиллически умирительное «Стоило»:

Тяжек полуденный зной, изливаемый небом жестоким:  
Оводы жалят коров, вьется столбом мошкара.  
Мухи с зеленым брюшком пересохший навоз облепили.  
Медленным взмахом хвоста бык отгоняет врагов.  
Дремлет понурое стадо. Взмесили уютную тину  
Свиньи, забравшись в пруд. Овцы — же в кучу сошлись.  
Спит и пастух, закрываясь от жара овчинною шубой, —  
Высунув жаркий язык, дышит собака над ним.

И наконец, как обычно наизусть, уже изнемогая от упоения — почти так, как он исполнял «Полно меня, Левконой, упругою гладить ладонью», подражая при этом выговору в нос И. М. Тронского, — оглашал Никита героическое описание лохани из радимовского «Пойла»:

Всякая дрянь напихалась за день в большую лоханку:  
Тут кожура огурцов, корки, заплесневший хлеб;  
В желтых помоях, из щей образуемых с мыльной водою,  
Плავает корнем наверх вялый обмусленный лук;  
Рядом лежит скорлупа и ошметки от старой подошвы,  
Сильно намокнув в воде, медленно идут ко дну.  
Всклянь налилася лоханка, пора выносить пороссятам:  
В темном они катухе подняли жалобный визг.  
Старая баба Аксинья, в подтыканной кверху поневе,  
Взявши за ушки лохань и понатужась несет.  
Вылила вкусное пойло она пороссятам в корыто.  
Чавкают, грузно сопят, к бабе хвосты обратив.

Согласитесь, это любопытный опыт великорусского эллинизма, который стоит знать любителям русского слова. А еще этот эпизод может напомнить, что под надзором строгих и даже придирчивых мастеров добросовестный филолог бесконечно что-то изучает и, тужась исторически мыслить, постоянно рискует оступиться и сверзнуться с чаемой высоты. Простая, стихийная любовь к словесности, *филология* в исходном смысле слова, может оказаться очень сильно потеснена в ходе освоения строгих правил ремесла,

под пыткой научного сомнения. В процессе «толкования трудных для непосредственного понимания текстов» (определение филологии по Якову Марковичу Боровскому) филологу, выходит, совсем немудрено превратиться в *мизолога*. Согласный на искус филологической работы, Н. Шебалин не истязал себя требованием завершать ее, зато способен был всегда радоваться ей: богатство литературных сведений, живость его наблюдений, самое изобилие их показывают, до чего это хорошо — *работая* над текстами, не растерять, а спасти и сохранить *филологию* в смысле первородной любви к слову.